

**Александр Щербаков**



**ШЕЛОПУТ И ПРОЧЕЕ**

**Моя жизнь с Галиной Щербаковой (III)**

Александр Щербаков

**Шелопут и прочее**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

## **Щербаков А. С.**

Шелопут и прочее / А. С. Щербаков — «ЛитРес: Самиздат»,  
2017

Эта книга – заключительная в серии: «Шелопут и Королева», «Шелопут и фортуна», «Шелопут и прочее». Уход из жизни Галины Щербаковой, любимой подруги и жены автора, внешне самоочевидный, представлялся ему смутным, неясным... И вот к чему приходит он в конце: «В том мае переменялось ВСЕ в нашей бывшей жизни 2010 года. Не для Гали - для меня. Те же обстоятельства, детали. Но они же – и другие... Я был непонятлив, может быть, в самые важные минуты ее жизни. Кружение по спиральям памяти, уводившее то в интимность исповеди, то в детали профессиональной специфики, оказывающаяся, было подчинено упрятому от меня замыслу». Какому? Об этом – книга.

# Содержание

Первая глава	5
I	5
II	12
III	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

*Александр Сергеевич, прочитала в одно дыхание ваши заметки в «Комсомольской правде», поплакала немножко, вспомнив весь ужас ухода Г. Н. ...Как жаль, что мы бываем в жизни глухи и бесчувственны, и жизнь проходит мгновенно.*

*О. Б.  
(E-mail, 28 февраля 2014)*

*Александр Сергеевич, не поверите, но я часто вспоминаю вас, совершенно без повода, просто по каким-то ассоциациям. И всегда с очень теплым чувством. ...Между прочим, без вашего доброжелательного отношения к людям я бы, очень вероятно, не задержался бы в этом ремесле.*

*С. К.  
(E-mail, 23 апреля 2013)*

*Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. ...В русской статистической литературе нередко все ремесленники XIX–XX вв. назывались кустарями.*

*(Википедия)*

## Первая глава

### I

«Когда я поняла, что горя мне не избежать, я сказала: тогда пусть это будет...»

Неважно, что будет. Сама эта фраза беспрепятственно, как давняя жилица, а то и как хозяйка, вселилась в мое сознание. Как это у поэта: что-то слышится родное... А обнаружил я ее совсем вот-вот, разбирая в доме очередную бумажную залежь, в набросках Галины к очерку об Израиле, так никуда и не вошедших. С этого изречения со всей очевидностью должна была начаться задуманная публикация. Но потом в ее планах что-то почему-то переменялось. По неведомой причине эта фраза, можно сказать, заорожила меня, я бросил все прочее и, словно идя на ее поводу, стал собирать новый сборник сочинений Галины с этим зачином. В него уложились и ее известные работы разных лет, и только что найденные упомянутые мной наброски.

Не знаю, суждено ли этой рукописи превратиться в книгу. (*Оказалось, суждено: «Наша ИЗРАиша» вышла в конце 2016 года*). Но она породила еще одну мою чудаческую прихоть: возникло неодолимое и, признаю, странное желание написать собственную книгу, начав ее именно с этого: *Когда я понял, что горя мне не избежать...* Без малейшего понятия – а что тогда будет?

И вот я это сделал. Нет, не написал – начал...

И фраза «отпустила» меня.

...«Пострадал, старик, пострадал». Это – к тому, что так бывает: просто фраза, предложение, его звучание может необычно воздействовать на человека, отзывчивого на слово. Тем более – пишущего. Хорошо помню, как в студенческой общежитской комнате мы со смехом, впрочем, весьма уважительным, рассуждали о снизошедшей на писателя благодати, когда он в поисках максимума точности наконец отыскал нужную ему разговорную интонацию: «Постра-

дал, старик, пострадал». В памяти отпечталось, что история относилась к Аркадию Гайдару. И ныне без труда я выяснил источник сведения – воспоминания Константина Паустовского. Именно тогда, в конце 50-х, была чрезвычайно популярна у молодежи его «Золотая роза».

В голове у меня, как у всякого начитанного человека, застряло немало общеизвестных шедевральных начал из русской прозы: Он поет по утрам в клозете; Тамань – самый скверный городишко; Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему; Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек; Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел...

Что касается меня, то я в своей журналистике лишь в самые ее первые годы был озабочен загвоздкой первой фразы. Позднее уже не придавал ей особого значения. И вот надо же – прямо как какой-то ультиматум: *Когда я понял, что горя мне не избежать...*

Что за напасть? Отчего эта внутренняя вибрация?.. Позднее я, кажется, уловил ее исток. Оборот «*Когда я понял...*», скорее всего, предусматривает некое действие в будущем. Между тем, удар судьбы – уход из жизни Галины – случился в прошлом. Но... мне прежде ни разу не довелось назвать то, что случилось, *горем*. Оно, без сомнения, было им – в жизни, но слово из этих четырех звуков до того дня не соотносилось с владевшим мной чувством.

После инсульта в 2009 году с выпадением на какое-то время речи мне пришлось восстанавливать почти всю словесную оснастку моего общения и деятельности. Этот процесс не окончен. Какие-то было утраченные, затерянные в болезни понятия то и дело возвращаются к жизни и приводят за собой забытые названия. *Горя* среди них не было. Имевшаяся сердечная боль к этому обозначению не подходила. Оно было чересчур пафосным (война – «всенародное горе»). Или же, напротив, излишне обиходным («представляешь, какое горе – украли кошелек»). Так долгое время и жил себе без него.

И вот оно, написанное рукой Гали, снова открылось-возвратилось как новорожденное, к тому же еще и связанное с понятием неизбежности («...горя мне не избежать»). Ведь и вправду они по своему существу неразрывны. Видимо, это меня, как стало модно говорить, и «торкнуло». Как что-то не полностью пережитое, не до конца прочувствованное и понятое.

Я невольно перенесся туда, в 2010-й, в март. Но, на удивление, это было не только больно. В этом был еще и магизм *возвращения*. Из сегодняшней памяти (неминуемо превращающей былую кровотокающую действительность в простую ее обозначенность, в «окорок из папемаше») – пусть в мгновенное, но подлинное страдание. Как об этом рассказать?.. Не знаю. Что-то вроде эффекта уже виденного. Но в том уколе боли – драгоценная первозданность и воскрешение, пусть на миг, *живой*, а не только памятной любви. И это – парадоксально? – радостно.

В стремлении возобновить такую желанную мимолетность я как-то открыл свой электронный почтовый ящик за тот самый март. Вот два письма из него, оказавшихся по соседству.

*13 марта*

*Здравствуй, Ириша! Я просто хочу сообщить тебе, что вчера Галю выписали из больницы. Конечно, не как здорового человека, но все же такого, что можно отпустить домой. Пока все. Приветы всем родным от меня и от Гали.*

*13 апреля*

*Дорогой Александр Сергеевич, эта статья – единственное, что я смогла написать за эти печальные дни. Понимаю, что это несовершенно, но написано с любовью, и Вы знаете, что это не громкие слова.*

Первое из писем адресовано моей сестре. А второе – от Ольги Арнольд, Галиной подруги, в нем говорится о мемориальном очерке, посвященном Галине. Между ними – черта, поделившая мою жизнь на «до» и «после». Всякий раз от этого разлома щемит сердце.

Я уже писал в книге «Шелопут и фортуна» о таком психологическом эффекте электронной переписки. В ней нет волшебства энергетики пишущего, оставшейся в рукописной графике, в самой бумаге, которой касалась рука «адресанта». Но есть другое: власть сиюминутности. Отпечатка мгновения, что автоматически фиксируется при акте передачи. Этот зарегистрированный миг помимо твоей воли отправляет тебя туда, назад, как если бы твой обычный телефонный разговор неизвестно для чего запечатлели на скрижалях... истории. *Твоей* истории. Его безыскусность, обиходность без малейших притязаний продлиться хоть на секунду после говорения, другими словами – *документальность* способны иногда перевернуть мою душу.

Не могу разделить чувство людей, «обижающихся» на бездушие, а то и прямо на антигуманность Е-мэйла и всяких служб мгновенных сообщений. Например, известный литературный критик и публицист Валентин Курбатов сказал: «Электронное письмо... Если вы напишете электронным образом «возлюбленная моя», компьютер скривится и подчеркнет; он не сможет вынести этого. И «возлюбленная» не будет возлюбленной в компьютерном переводе. Эти буквы мертвы, они всегда сквозят чем-то «сквозящим», нечеловеческим смыслом».

Наберите на компьютере сочетание «возлюбленная моя» и пошлите его куда-нибудь по Е-мэйлу – и убедитесь, что все эти страхи не более чем красоты стиля. Я все это на всякий случай проделал, а сейчас повторю: е-мэйловские эпистолы способны возродить казалось бы отжившие чувства.

Перечитал письмо Ольги Арнольд – и въяве возникла идея, призрак которой мелькнул еще при слиянии в сознании *горя* и *неизбежности*. Представьте: я буду бродить в будущей книге по своему почтовому архиву. На авось. В надежде снова столкнуться с подлинными, не скукоженными в памяти эмоциями *возвращения*.

Однако написал «на авось» и... уличил себя в неправде. Точнее – в «не совсем правде», в лукавстве. Уж я-то знаю себя. Все попавшее в орбиту рассудка он в конечном итоге попытается выстроить в удобном ему порядке. Не раз пытался вырваться из этой умственной тюрьмы. Мол, давай улетим! В непринужденное, детское парение: пусть будет как будет. Но нет, мы не вольные птицы. Однако попытка не пытка...

...По каким-то неведомым мне техническим причинам почта в моем компьютере сохранилась лишь с 2007 года. Большую ее часть составляет каждодневная житейская текучка. Но бывало и иное. Итак...

Вот такая «телеграмма» ушла от меня в 2011 году. «Алена, может быть, тебе пригодится эта цитата: «Как и все настоящие писатели, Довлатов немало писал о смерти». (Лев Лосев)». И еще – через три с небольшим месяца: «В Москве недавно был выдающийся польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси. В интервью на телеканале «Культура» он сказал, что у искусства, по существу, есть лишь две достойные темы: любовь и смерть».

Примерно за год до этих депеш вот что я написал нашей стародавней ростовской подруге.

*Здравствуй, Юля! Спасибо за твое теплое письмо. Я действительно в основном занимаюсь Галиными делами. Вышла собранная мной книжка ее пьес и сценариев с моим предисловием. Мне очень дорога начавшаяся серия больших книг (две уже вышли – "Единственная, неповторимая. Большая книга рассказов" и "Чисто русское убийство. Большая книга повестей"). Недавно я сдал в издательство предисловие к сборнику "Приговоренные к любви. Большая книга романов о женищинах".*

*Я хочу, чтобы вышла книга о Гале как о писателе. Искал подходящего автора. И, как мне кажется, нашел. Это Алена Бондарева, литератор, занимающийся книжной тематикой, и писательница. Ей 25 лет, выпускница Литинститута. Я с ней два раза встречался, она уже разработала приблизительную структуру книги, которая мне понравилась. С издательством*

*я предварительно поговорил и получил его принципиальное согласие. Мне очень хочется, чтобы я сумел и успел осуществить эту затею.*

Работа Алены оказалась не такой простой, как нам виделось вначале. Но это другой разговор. А тогда, в 2011 году, та занималась главой «Ich sterbe» (известная история. Перед смертью больной Чехов в курортном Баденвейлере констатировал по-немецки «Ich strebe», и тут же по-русски пояснил: «Я умираю»). Она сообщила мне об этом, и я на всякий случай послал подвернувшиеся сведения на подходящую тематику. Однако Бондарева обошлась без них. Мне нравится, с какой деликатной ироничностью, но и с глубиной понимания подходит она к этой теме.

«... Что если смерть важнее? И жизнь есть непрерывное движение к финалу, увяданию, распаду, разложению? И «аз умре» звучит так же весомо (если не более значимо), как «аз есьмь»? Тогда получается, что способ ухода (угасания, упокоения) не менее существен, чем само течение жизни.

Недаром Достоевский убивал старушку-процентщицу топором – собаке – собачья смерть, а у Толстого хорошие люди гибли героически, плохие, считай, доживали, или, за нераскаяние свое были толкаемы хитрым Львом на самоубийство.

Чехов изводил персонажей более изощренными способами – интеллигент, доктор все-таки: то мертвую чайку в дом подкинет, то кого-нибудь в психушку упечет, а то и вовсе забудет старика в запертом доме под удаляющиеся мечтательные разглагольствования бар о вишневом саде. Тут, как говорится, у каждого своя система, представления, виденье и художественный метод.

<...> Но, как бы там ни было, многие герои Галины Щербаковой по тем или иным причинам отметились среди литературных покойников всех разрядов: от случайно околевших в степи старух до невинно (фактически мученически) убиенных в собственном доме девочек. Смерть в произведениях Щербаковой не система наказаний (хотя умирание как воздаяние в повестях и романах встречается достаточно часто). Но даже в такой смерти нет притягательности, которая волновала Бодлера и «проклятых» поэтов. Она ни загадочна, ни мистична и совершенно не похожа на те финальные и фатальные сцены, что описывает в своей пугающей прозе Эдгар Алан По. Редко кончина героев Щербаковой поучительна для них самих, как в морализаторских выкладках Достоевского (чаще смерть служит уроком для окружающих), она не горько иронична, как у раннего Чехова. Не похожа на изящную ловушку, подобную фантазиям Набокова. Нет в ней и той глубокой метафизической трагедийности, какую мы наблюдали на последних страницах повести об Иване Ильиче»...

«Уход из жизни для многих персонажей и их окружения, – подводит Алена итог своих наблюдений над прозой Щербаковой, – беда, но чаще не трансцендентная, а вполне осознаваемая и осязаемая».

Именно таким был и собственный уход Галины. «Весь ужас» его (см. эпитафия) был – для окружающих, но не для нее самой.

Галю при мысли о смерти больше всего страшила возможность предваряющей ее физической беспомощности, а еще, что та может случиться вне ее дома, в том числе и в лечебнице. Не раз и не два она говорила: «Главное в жизни – дойти до могилы собственными ногами». Менее чем за полтора месяца до кончины в ее жизни случились две выписки из больниц. В обоих случаях я настоял перед эскулапами, чтобы отпустили ее раньше, чем запланировано, – не мог устоять против ее – не просьбы – мольбы! И как же она оказалась права: я-то не знал, что каждый вместе прожитый день уже ценился по особой, исключительной цене, а она, по-видимому, знала.

Впрочем, похоже, в подсознании я тоже ощущал приближение главной неотвратимости. В конце лета 2009-го Галя при поддержке и помощи Володи Секачева, ее литагента, добилась

зачисления меня, как послеинсультника («Экспрессивная речь недостаточно информативна, состоит из хорошо упроченных фраз, изобилует парафазиями. Номинативная функция речи затруднена. Письмо нарушено» – из больничной справки), в подопечные ЦПРиН – Центра патологии речи и нейрореабилитации. Это современный больничный центр, созданный при благой поддержке московского мэра Юрия Лужкова. Я в нем претерпел мучительную для измотанного болезнью организма «вступительную» медкомиссию. Месяца через полтора-два мне оттуда стали звонить: есть место! Позвонили раз, два, три...

Но тут я уперся. Лучше уж вообще не говорить и не писать, чем уходить из дома на несколько месяцев. Ничто не наводило меня на мысль о скором уходе Галины. Но никогда, никогда я себе не простил бы, случись мое переселение в прекрасный, даже по мировым меркам, реабилитационный центр. Вот если бы была возможность оказаться там вдвоем... А так... Моя речь, сделавшаяся, как знать, безупречной, всю оставшуюся жизнь служила бы упреком за сотворенную собственными руками самую трагическую разлуку.

...В том марте Галя не могла не ощущать дамоклова меча еще одного больничного срока. Она дисциплинированно поглощала скармливаемые мною бесчисленные таблетки и капли. Была необыкновенно тиха и спокойна. Часто задумывалась. Категорически ни с кем не общалась. Иногда, впрочем, ненадолго, ее накрывала пелена забывчивости, и она с искренним интересом воспринимала мои рассказы, к примеру, об истории тех или иных вещей в нашей квартире.

Не помню уж по каким поводам в разговорах возникали имена нынешних или давних знакомых, и нам было всласть вспоминать что-то связанное с ними – и с нами... Время от времени я ловил ее какой-то... сложный взгляд – спокойный, но и с ироничным вызовом (как при игре «холодно – горячо», когда ищущий вплотную подходит к спрятанному предмету, однако не может обнаружить его); с таящейся в глубине то ли разгадкой чего-то, то ли, напротив, с некой загадкой...

А еще она отказывалась есть. Столь же категорично, как я недавно отрекался от определенной было реабилитации.

Уже потом, после всего, вспомнил... (То ли память тогда в очередной раз подвела меня, то ли она сознательно притормозилась – в охранительных целях. Как автоматические выключатели на межквартирном распределительном электрощитке.)

Был у Галины любимый дед по материнской линии, Федор Николаевич. Он остался для нее на всю жизнь непререкаемым авторитетом. И когда «дедя» умирал, рассказывала мне она, то в свою последнюю неделю наотрез отказывался от любой пищи, не взяв в рот ни крошки.

...То утро у нас было поздним. Я проснулся первым и на кухне раскладывал ее лекарства по прямо-угольничкам пластмассовой таблетницы. Они и по сию пору лежат там, приготовленные на день 23 марта: 10 разноцветных таблеток и капсул на завтрак, 10 на ужин и 5 – на обед. Услышал ее голос, необычно хриплый:

– Принеси мне соку.

Она уже сидела на диване в соседней с кухней комнате.

– Я сейчас закончу разбираться с лекарствами и померяю тебе давление.

Она кивнула и стала пить. Но едва я вернулся к своему прерванному занятию, как услышал ее шаги, странные, неровные.

– Ну, сказал же, сейчас приду, – недовольно пробурчал я.

Но было поздно. Галя ничком лежала у двери ванной, учащенно дышала, и было ясно, она не в силах подняться. Я принес тонометр, но он вообще не фиксировал давление. Пульс, донельзя слабый, был.

«Скорая» прибыла очень быстро. Думаю, минут через пять, – никогда такого не было. Я спросил, можно ли ее перенести на кровать. «Не можно, а нужно. Но вы же видите: мы, две женщины, не сможем это сделать». Наш сосед, добрый и могучий, оказался дома. И еще

через пять минут из капельницы, притороченной к стене посредством гвоздика от торопливо снятой картины, в кровь забастовавшего организма начала поступать жидкость, призванная привести его в чувство. «Все будет хорошо, – повторяла докторица, показавшаяся мне излишне оживленной, – сегодня мы уже четверых таких выходили. Такая уж нынче погода, весенняя...»

...Галя, выражаясь фигурально, дошла до кончины «своими ногами». Встретила ее в своем доме, в месте, о котором много раз говорила: «Как я люблю нашу квартиру!» И, окончательно уходя, слабо – но, можно сказать, и нежно – пожала мою руку. Как при расставаниях в незабвенную пору знакомства, в 1958-м, еще до первых поцелуев.

Это обстоятельство не просто смиряет меня с фактом моего существования при ее земном отсутствии, но делает его осмысленным. Вот почему я не считаю ее уход «ужасом». Так предназначила судьба. Но, может быть, и... сама Галя.

Жизнь без нее – это что-то ампутированное, инвалидное. Но это тоже судьба. Однажды меня удивили мои же собственные слова, рожденные неожиданно, самопроизвольно, минуя думание.

Было так. В 2010 (или 2011?) году по телеканалу «Культура» показывали цикл бесед с Викторией Токаревой. Он подкупил меня непринужденной естественностью героини. И, повинаясь импульсу непосредственного впечатления, я позвонил Виктории Самойловне. В конце разговора та спросила:

– От чего умерла Галя?

Я на мгновение задумался: как точнее сказать? Но быстрее, чем в голове возник ответ, услышал свой голос:

– От того, что жизнь кончилась.

Я сам был этим удивлен. Но Токарева – нет. Она сказала:

– Понятно.

А я о своих словах с тех пор думал и думаю. Что именно?.. Вряд ли это укладывается в жанр прогулок по электронным адресам. Я журналист, а не философ, и буду стараться недалеко отходить от того, что видел, что слышал, и что было вокруг. Но не могу не поделиться одной – не моей! – мыслью. Эпизод с Токаревой был мною описан в этой рукописи 8 июня 2015 года. Тем же вечером я смотрел одну из трех-четырёх телепрограмм, которые еще способны вызвать мой интерес, – «Сати. Нескучная классика». Была передача «Музыка в жизни Фанни Ардан». И у меня было предчувствие: обаятельная и невероятно искренняя актриса в этой теме скажет что-то для меня важное. Предположение оправдалось. «Есть такое французское выражение, которое я хорошо знаю: смерть в душе. Физически человек не умирает. Он здесь, он встает по утрам, идет обедать, ходит по магазинам, разговаривает с людьми. Но внутри человек уже умер, потому что умерла душа. ...Иногда, когда человек полностью одержим какой-то страстью, даже при этом болен, он плюет на болезнь. А тут, наоборот, когда вдруг у человека умирает душа, тело уже не может сопротивляться». Да, что-то такое было с Галиной.

И вот что еще хочу добавить.

Не раз и в быту, и в своих интервью Галя вспоминала подробность ухода из жизни великого поэта. «Когда-то я не понимала фразы Пушкина, который, умирая, сказал «Прощайте, мои друзья!», обращаясь к книгам. Но сейчас я понимаю это каждой клеточкой своего организма».

В последние минуты жизни она была на своем обычном спальном месте. Справа от нее, «в головах», находилась стопка предназначенных к полуночному чтению книг (в тот день, впрочем, как и сейчас, их было тринадцать); слева от кровати «горка» из семи застекленных полок с особо ценными собраниями сочинений (Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Солженицын, Шаламов и т. д.); а прямо на Галю смотрела «стенка» от пола до потолка с любимыми европейскими и американскими детективами (это была ее слабость, а где же еще и угнездиться нашим

слабостям как не в спальне, самом интимном уголке жилища). И кто знает, может быть, она про себя тоже по-пушкински прощалась со своими безмолвными «друзьями»...

*Уважаемый Ю. В.!*

*У меня умерла жена. Она была писательницей – Галина Щербакова. За десять дней до ее кончины издательство прислало обложку ее новой книги. Она ей понравилась. И тут неожиданно она сказала...*

Да, 12 марта я привез ее из больницы. Включил компьютер и обнаружил три послания из «Эксмо» с присланными для авторского утверждения обложками трех новых книг.

– Галя, – позвал я, – иди сюда!

Пристальным взглядом она окинула предложенные композиции. Две из них были дежурными афишно-застывшими – из серии ее тридцати покетбуков. Зато третья, предназначенная для большого шестисотстраничного тома лучших рассказов, была необычной. Она состояла из одиннадцати теснящихся друг к другу фотографий Галины.

– Смотри, здорово и необычно, – сказал я.

Она тихо ответила:

– Пускай это будет на моем могильном памятнике.

И пошла из комнаты.

– Что именно? – вдогонку крикнул я.

– Вся обложка.

Кроме фотографий, внизу обложки был текст:

*Галина ЩЕРБАКОВА*

*Единственная, неповторимая*

*Большая книга рассказов*

Ну, и ладно. Я и в этом случае не увидел ничего предвещающего. Галя была истинно малоросской натурой (в моем понимании), способной легко переходить от шалой «гопачной» искрометности к настроению непритворного, но, впрочем, отчасти чуть-чуть и напоказ, печалования, «журбы»: як умру, то похуйте мене на могилі... Для меня такое было не в новость. И вообще тема смерти в нашем доме не была табуирована.

В итоге получилось, что жена и об *этом* подумала. В секунды, можно сказать, небрежно ухватила форму, смысл и вероятный подтекст обложечного коллажа. И, наверно, по-писательски вживив все это в грядущий порожденный ее воображением «перформанс»... Не устаю удивляться способности одаренных сочинителей разглядеть в «презентуемых» им откуда-то мысленных картинах, как во всамделишной реальности, глубину и подробности сущего. Не это ли их главное профессиональное свойство? Описать же пойманное в такой момент – дело техники.

Строчки из почты, предваряющие эту микроглавку, – из моего письма мастеру изготовления надгробий. А вот впечатление от самого памятника: «На могильном камне Жана Кокто – надпись: «Я начинаю». Надгробная плита Галины Щербаковой встречает печальных посетителей каскадом удивительно живых портретов». (*Профессор Владислав Смирнов, наш давний друг*). А ведь это еще памятник и ее, быть может, лучшей книге? Так думают некоторые близкие Гале люди. Я-то лично на первое место ставлю другой ее сборник.

Но кто тут может рассудить?..

## II

Видимо по натуре я все-таки бирюк. (Помните сноску Ивана Сергеевича в «Записках охотника»: Бирюком называется в Орловской губернии человек, одинокий и угрюмый). Осознал это благодаря Интернету, точнее, социальным сетям. Ну, не получается у меня легко и раскованно общаться с кем-нибудь как бы на площади, на виду у многих. Под их невидимым взором невольно начинаю подбирать «нужные», осмотрительные слова, и это уже не я. В нормальной своей частной жизни я другой. Завидую тем, для кого фейсбукское оконце – как зеленая ветка для природного щебета певчей птицы.

Но в одном я благодарен сетям: они механизировано, а потому исправно напоминают о предстоящих днях рождения членов виртуальной общины. Что при моей с детства дырявой памяти просто спасение. Благодаря этой отчасти навязанной, но тем не менее доброй услуге случилось немало моих не только ритуально-поздравительных, но и содержательных контактов. Вот один из них.

«Здравствуй, Саша. Поздравляю тебя, преемник на посту ответсека «Огонька», с днем рождения. Интересно, сколько ты проработал под Гуциным, а может, и под Черновым? Каково это было? Интересно. Отпиши в двух словах. Ребята они способные, но – другие. Твоя Галя это когда-то понимала. Обнимаю. Здоровья тебе, старина».

Это послание от Володи Глотова. Не прошло и месяца, как я, тоже по фейсбучной «хеп-пибёздной» наводке, отписал ему:

«Володя, будь здоров и успешен. Где-то с полгода назад я перечитал твою книгу об «Огоньке». А мне сейчас больше вспоминается не «Огонек», а "Комсомольская правда", как мы традиционно рядом бывали в Голубом зале (у левой стенки от входа) на летучках и т. п., обмениваясь своими особыми мнениями, часто расходившимися с воззрениями редакционных бояр (а то и «озвучивали» их). Хорошо, что это было. Обнимаю».

«Огонек»... «Комсомолка»... Эти слова – ключевые в моей жизни, хотя времяисчисление, связанное с ними, составляет далеко не основную ее часть. Зато – главную по смыслу. В мемуарах, как в лаборатории с какими-нибудь путанными растворами, можно болтанку существования разделить на фракции: любовь, производство, семья и т. д. Хотя все происходит в одном и том же сосуде. Так вот, свои предыдущие книги воспоминаний я старался уподобить сепаратору, отделяющему ипостаси любви и семьи от всего прочего. Механизм оказался неважнецким, то и дело в желанные дистилляты пробивались частицы чего-то социального, профессионального... Я, как мог, вымарывал их. Сейчас же, напротив, хочу дать волю еще и производственной, редакционной стихии, даже если она кому-то и неинтересна. В конце концов, не «все же на продажу»...

Глотов в своем поздравительном письме вспоминает «Огонек». В моей же памяти, повторюсь, на первом месте всегда «Комсомольская правда».

...Поутру раздался телефонный звонок. Знакомый безапелляционный тон Марии Михайловны Глазовой, главного человека в бюро стенографии. Не теряя времени на околичности, та сразу зачитывает адресованную мне записку Соловьевой – «мамы Шуры», покровительницы всех соборов в отделе местной сети. «Саша, сегодня вечером ты должен быть у Панкина».

– Все понял? – уточнила Мария Михайловна.

– А что будет вечером?

– Тебя соединить с Панкиным?

– Спасибо, не надо.

Панкин – главный редактор.

Большой тревоги неожиданный вызов не посеял. Я и знал, а главное, чувствовал: у меня все в порядке. К тому времени, к осени 1967-го, я впервые за два с лишним года службы в «Комсомолке» ощутил комфортность соборовского положения. Все «пароли, явки, имена» на подведомственной территории отмобилизованы, действовали «штатно» (в то время входил в моду этот страхолюдный профессионализм из простецких космонавтских докладов с орбиты). Большинство поручений Шестого этажа были мне интересны. А если какие-то из предлагаемых тем претили, скажем, по моральным, а то и чисто вкусовым соображениям, я, выждав приличное случаю время, сообщал, что в Волгоградской области, а также прилегающей к ней «Астраханщине», нет соответствующих заданию фактов. Поди проверь – за тысячу-то км от «конторы». Казалось, наконец-то пришло безоблачное, чуть ли не эдемское существования. Дети пристроены. Жена за полтора года сделала немислимую карьеру – от библиотекаря до редактора областной газеты. И вот, пожалуйста, зачем-то нужно предстать перед главным.

Делать нечего, собрал командировочный чемодан-чик – и в аэропорт. Ни «мама Шура», ни Серега Иларионов, зав. соборовской сетью, ничего прояснить не могли.

Панкин же, Борис Дмитриевич, был немногословен:

– Редколлегия решила создать новый отдел – фельетонов и культуры быта. Предлагаю тебе его возглавить. Надеюсь, не будем играть в «Я подумаю до завтра». Иди к Зайцеву (заведующий редакцией), бери у него ключ от своего кабинета и начинай прямо сейчас.

И я начал. Невзирая на казавшуюся двусмысленность самого названия новой редакционной команды. До сего времени такого не бывало. Вот же привычный ряд: отдел комсомольской жизни, отдел рабочей молодежи, отдел сельской, учащейся молодежи и т. п. И вдруг – отдел фельетонов и культуры быта...

Относительно фельетонов. В то время читательским успехом пользовался этот жанр газетной иронической публицистики. «Известия», «Литературная газета», «Труд» всю использовали его, были даже рубрики «Субботний фельетон», «Воскресный фельетон» и т. д. А в «Комсомолке» ничего такого не было. И, конечно, мои опусы в этом роде привлекли внимание (я в 1960 году, окончивая университет, защитил дипломную работу, которая так и называлась: «Фельетон»). А вот культура быта... Я понял логику руководства, когда вник в интересы «боевых штыков» нового отдела, жизненные и творческие. Это были талантливые личности, однако же никак не прилегавшие к тематике ни рабочей молодежи, ни военно-патриотического воспитания, ни пропаганды, ни физкультуры и спорта – и так далее по списку редакционных подразделений. Это была не их ущербность, а – списка. Два в одном – соединение газетного жанра с неким атрибутом людского бытия – было не слишком удачной, но все же благой попыткой компромисса живой практики с устоявшимся ранжиром.

Узнав своих «сотоварищей по цеху» чуть ближе, я обнаружил: микросреда оказалась непростой.

Володя Орлов. Я не знал толком, что это за журналист, но он уже состоялся как писатель – с книгой «Соленый арбуз». Для нас, молодых, живших в литературноцентрической стране, коей был СССР, такой факт значил очень многое. Скажу честно, его книга не произвела на меня большого впечатления. Сейчас, вспоминая ее, я нахожу в ней больше достоинств, чем тогда. И не потому, что за ней авторство еще и «Альтиста Данилова». Просто со временем она перестала отсвечиваться в популярных тогда сочинениях Василия Аксенова («Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара»), Анатолия Гладиллина («Хроника времен Виктора Подгурского», «Бригантина поднимает паруса»), Анатолия Кузнецова («Продолжение легенды», «Артист миманса», «Бабий Яр», «Огонь»)... А еще и «старики» тогда время от времени удивляли. Помню, к примеру, внезапный укол от рассказа Владимира Дудинцева «Новогодняя сказка»...

Но в любом случае нельзя было не признать точное и, я бы сказал, красивое обращение Орлова со словами.

На работу Володя приходил между двенадцатью и часом. Хмуро и устало здоровался. Полагаю, именно тогда писался «Альтист», и именно в нем на 99 процентов выкладывался мой сотрудник. Сделав два-три телефонных звонка, Володя с товарищами из других отделов отправлялся пить кофе: надо было обсудить вчерашний футбол и прочие спортивные события. Нередко в дни его дежурства по отделу Аллочке, референту (впрочем, тогда называвшимся секретарем), приходилось выискивать его по длинному коридору этажа. А порой – и по недрам «Савелия» – расположенного поблизости Савеловского вокзала, где наш именитый писатель вместе с дружкой из спортивного отдела Мишей Блатиным любил побаловать себя кружкой пива. Под конец рабочего дня Володя, недовольно сопя, почти всегда честно корпел над ответами на письма читателей.

Однако я знал, рано или поздно он положит на мой стол материал, неизвестно когда сработанный, который вовсе не пробудит у меня восторга, но... очень может быть, вызовет уйму откликов. Такие факты меня удивляли и... учили. Вспоминаю, скажем, одну такую корреспонденцию – «Бульдозеры в Коломенском». Уже не помню – авторскую или самого Орлова. О варварских действиях властей в подмосковном музее-заповеднике. Бог ты мой! Сколько различных начальственных головотяпств проходили перед моими глазами за годы газетной работы. Но тут оказалось, что не очень ладно, на мой вкус, стилистически и композиционно скроенный материал взволновал очень большое количество людей, может быть, и не слышавших ни про какое Коломенское. Володя же, уверен, готовя публикацию, предчувствовал такую реакцию.

Между прочим, хотя я и был бы не против более активного участия моего соотдельца в газете, но и складывавшееся статус-кво меня устраивало. «Безделье» такого рода всегда плодотворнее кипучей серости.

Орлов очень хорошо знал и любил Москву, и я пользовался этой его слабостью, направляя практически весь поток столичных тем на него.

К культуре быта были приписаны и две славные журналистки Лида Графова и Капа Кожевникова. У них не было писательского ореола. Но когда я где-то в середине университетского курса начинал карьеру в провинциальной многотиражке «Резинщик», они уже были на «Шестом этаже», к тому же давно освоились как москвички. Но не только. Столичное реноме этих красивых женщин хорошо подпирало их семейное преуспеяние. Муж Капитолины Иосиф Герасимов – уважаемый писатель, за чьей спиной более десятка вышедших к тому времени книг. А муж Лиды – известный всей стране фельетонист «Известий». И, кстати, весьма уважаемый мною – отчасти как бы тоже спецом по жанру. Ну, Борис Дмитриевич Панкин, замечательную компанию вы мне удружили!

Чем не закваска для неприятия, недружелюбия? У кого на памяти не найдется достаточно случаев дурной розни при гораздо меньших «основаниях»... Где-то уже через полгода пришлось устраиваться на работу в Москве и моей Галине. Для нее этот процесс оказался мучительным. Безусловно, он в какой-то мере отразился в ее романах о журналистской жизни. Вот картинки из одного такого. Действующие лица: Ася, пришедшая в большую столичную редакцию из провинции, и Каля с Олей, старожилы этой газеты.

«...С Зои мысль перекинулась на девочек из отдела – Калю и Олю. Длинноногие, красивые девчонки – сразу после университета. Каля считалась дарованием. Печаталась с восьмого класса. Лихая интервьюерщица. О ней говорили, что она слегка ранена фрейдизмом, но что с возрастом это пройдет и тогда она подыметя до уровня Священной Коровы («звезда» *столичной очеркистики*. – А. Щ.), а может, в манере письма и превзойдет ее. ...Оля была без дарования. Отец у нее – известный писатель, и этого ей пока в жизни хватает. Она была дока по части тряпок, париков, перспективных моделей, по части писательских и киношных скандалов, и это было в ней главное. Сегодня она уже знала то, что будет только послезавтра. В сущности, это ведь тоже годится для газеты не меньше, чем умение складно написать.

Ася была обеим девицам ни к чему. Это было ясно с первой минуты. Неприятие это носило отвлеченный характер, потому что никак их не ущемило, на ее место никого из девиц не прочили, просто в аквариуме с ценными породами золотых рыбок появилось существо беспородное и к тому же извлеченное из какого-то дальнего и забытого водоема. Рыбное сравнение пришло к Асе еще вчера, когда в аквариумах в редакции сдохли последние рыбки. С Калей была истерика. Ася бегала за нашатырем. ... Асе тоже было жалко рыб, а Калю жалко не было. Ее истерика показалась ей нелепой, театральной...

... – А где Ася? Ушла? Это что, демонстрация?

– Да ну вас! Человек ушел сдать материал на машинку.

– Как она вообще?

– Не понимаю этой манеры тащить в Москву периферию. Зачем? Отвечать на письма?

– Но кто-то должен это делать?

– Она ничего себе, только до ужаса провинциальна...

– Это ругательство?

– Почему? Это почти научная терминология.

– Ну что? Разбежались?..

... – Я их боюсь, – печально сказала Ася. – Я с ними чувствую себя тяжелой, неуклюжей. У меня мозги поворачиваются медленно, как жернова. У меня мало слов. Я мало видела.

– Чего ты не видела? Сахарных сапог на черной платформе?..

– Ну, в смысле тряпок я вообще не заслуживаю уважения. Но вообще эти девчонки очень информированы. Этого у них не отнимешь...»

Но мне повезло. Вокруг меня в «Комсомолке» оказались по-настоящему интеллигентные люди. Никто никому не подпортил жизнь – даже нечаянно.

Еще к нашему отделу был приписан стажер, Боря Васильев. Поскольку остальные его сотрудники были по части исключительно «культуры быта», мне хотелось, чтобы хотя бы он помогал мне обеспечивать газету остроумными фельетонами и выпускать регулярный раздел юмора «Улыбка». Однако трудно было найти личность, менее всего предназначенную для этого дела. Сложность была не в том, что у него отсутствовало чувство юмора, нет, а просто его натура была нежная, ранимая, чуждая реалиям каждодневности. Это трудно было совместить с «сатирическим жанром, высмеивающим – согласно словарю – порочные явления в общественной жизни». Однажды я узнал, что Боря увлекается поэзией. Мне понравились его стихи.

*Опилки, щепки... Куча древесины,  
истив грозы  
прохладных,  
пресных слез,  
щемяще пахла чем-то синим-синим,  
что я в себе,  
не сознавая,  
нес.*

Как лепо сказано!.. Однако меня-то больше занимало, как с умом распорядиться этой кучей древесины в духе тогдашней экономической реформы, затеянной премьер-министром Косыгиным (впрочем, по-быстрому затоптанной генсеком, нашим дорогим Леонидом Ильичом; но «Комсомолка» оставила память по ней на скрижалях моего фельетона «Под страхом разрешения»). Моя душа чиста: я ни разу не намекнул Боре о его неполном соответствии. Он

сам, возможно из-за внутреннего дискомфорта, ушел, уже не помню куда, и мы расстались дружески.

Его место занял вчерашний десятиклассник Коля Булгаков. Он был похож на молодого Гоголя, а в творчестве работал под обэриутов. Его миниатюры, порой обаятельные, но зачастую трудноразъяснимые, редко доходили через частокол редакционных барьеров до газеты. Та была уж очень повернута на социальность, ей было не до стилистических изысков на манер Хармса. Но Коля не унывал, полюбил «Улыбку» и многое делал для нее. Вот один пример.

Юношеским нахальством и непосредственностью он обаял Елену Сергеевну Булгакову, и та дала ему «Тайну несгораемого шкафа (Маленький уголовный роман)» – рассказ Михаила Булгакова из «Труда» 1926 года. И тот вышел в нашей «Улыбке» за много лет до перепечатки в журналах и книгах. Я не раз пожалел, что не познакомился через Колю (а он предлагал) с Еленой Сергеевной, лишь однажды поговорил с ней по телефону. Такой уж был захлопотанный...

Лет через семь-восемь после того, в пору моей работы в «Журналисте», я встретился с Николаем в каком-то лабиринте дворов между Тихвинским и Вадковским переулками. Это уже был не мальчик, а муж, хоть и молодой, но при бороде. Он окинул меня, видимо, как и я его, испытующим взором, может быть, что-то про себя решая, а потом хитренько так, но дружелюбно усмехаясь, достал из портфельчика (впрочем, может, это была сумка) небольшую книгу. Это было его сочинение. Называлось оно «Я иду гулять». Книга оказалась стоящая, как я и ожидал. Не потому, что Коля был похож на Гоголя, а из-за давней, как мне казалось, склонности к обэриутству.

А потом прошли не годы – десятки лет. И только в 2012-м узнал, что Булгаков давным-давно – иерей, настоятель храма, член Епархиального отдела по издательской деятельности... В голову пришла совсем несерьезная мысль, что это случилось не без мистического влияния однофамильства Николая с Булгаковым Сергеем Николаевичем, достоправным священником, богословом и философом. Прочитав (в Интернете) одну из книг, написанных отцом Николаем в его новом для меня качестве, – «Душа видит свет», о Н. В. Гоголе (!), понял: ее автор – тоже неординарный теолог и любомудр. Самобытный и... увлекательный.

А у меня сохранились две цинкографские клишинки для воспроизведения на газетной полосе рисунка-заставки к «Улыбке», которые мы не оставляли в типографии, а хранили всегда у себя, в отделе. Они до сих пор лежат в фирменном запачканном типографской краской конверте «Комсомолки», а сам этот конверт – в папочке (сейчас такие называют «файлами»), на которой рукою стажера Коли надписано: «Гранки-шманки».

### III

Недавно прочитал в Интернете мемуары Капитолины Кожевниковой, о которой только что вспоминал. Один из ее очерков начинается так: «Еще на журфаке Уральского университета робко закралась мечта – работать в «Комсомольской правде».

А я уже рассказывал в других публикациях, как и у меня в том же месте, в УрГУ, только лет на десять позднее зародилась ровно такая же мысль-идея, беспочвенная, но, тем не менее, захватившая воображение. Побудили ее встреча нас, студентов, с приехавшим в Свердловск корреспондентом Василием Песковым и очерк Аркадия Сахнина «Эхо войны». Преподаватели-умницы вывесили в коридоре рядом с кафедрой печати страницу «Комсомолки» с этим, не побоюсь слова, шедевром русской очеркистики.

Это было скрупулезное, по минутам выверенное расследование того, как спустя 15 лет после освобождения от немецких захватчиков город Энск (на самом деле это был Курск) едва не взлетел на воздух. Отступая, немцы оставили там миллион снарядов и 15 тысяч авиационных бомб, обнаруженных спустя двенадцать лет после победы. Случись взрыв, не только от города, но и от его окрестностей не осталось бы и следа.

Увлекательный рассказ Сахнина о саперах, об их физически тяжелой и одновременно виртуозной работе без права на ошибку читался неотрывно. Название очерка вошло в сознание русскоязычных не просто удачной метафорой, а внятным каждому понятием. Сколько было похожих случаев. Все они без изъятия после той публикации назывались «эхом войны».

...Май 1967-го. Московский телефонный звонок в моем волгоградском корпункте. Аркадий Яковлевич Сахнин. Просит «сделать» ему гостиничный номер и вообще поспособствовать в командировке. Он прилетает завтра. Я отменяю все дела, запланированные на ближайшую неделю. Причем без малейших сожалений, что в подобных случаях бывает редко.

Сказать честно, дело, по которому приехал Сахнин, удивило меня. Дикая семейная история с уркаганом мужем и патологически-психической женой. Но не мое дело влезать в намерения метра. Я предоставил в его распоряжение соборовскую машину с водителем и вдобавок... себя. Аркадию Яковлевичу хотелось, чтобы при беседах с участниками случившейся драмы присутствовал свидетель.

От гостиницы «Волгоград» до места действия заинтересовавшей Сахнина «красноармейской истории» (по названию городского района) было не менее 40, а то и 50 километров, где-то за Волго-Донским каналом. И каждый раз всю дорогу я его нахально расспрашивал о прежних командировках. Всего больше меня интересовавала одна. И это был не Курск.

Летом 1965 года, когда я только входил в новую для меня редакцию, «произошло событие, которое тогда показалось совершенно невероятным для коммунистической системы» (Эрнст Черный «Российское рыболовство. Заметки на фоне коррупции»; журнал «Северная Пацифика»). «Комсомольская правда» опубликовала статью А. Сахнина «В рейсе и после», развенчивавшую ореол всенародного героя вокруг короля советского китобойного промысла Алексея Соляника, генерального капитан-директора объединенной флотилии «Советская Украина» и «Слава». Рассказывалось о том, как матросы от невыносимых условий падали замертво, и не раз случалось, что под бравурную музыку, которой порт встречал «героя», из трюма тайком выгружали свинцовые гробы.

Но для «пикейных жилетов» и просто осведомленных людей важным было то, что, выражаясь на модном сленге нынешней кремлевской верхушки, публицист «мочил» особу, в «дружбанах» у которой были первые лица державы – члены политбюро ЦК КПСС. Меня интересовало, как при лютой предварительной цензуре удалось довести текст до газетного листа. Рассказанное Сахниным достойно отдельной авантюрной новеллы, однако не мое право писать

ее при здравствующих непосредственных участниках действия, тогдашних обитателей Шестого этажа.

«Публикация по тем временам была, по сути дела, журналистским подвигом не только Аркадия Сахнина, но и редакции «Комсомольской правды» и, безусловно, главного редактора Юрия Воронова». (Эрнст Черный).

Дело разбиралось на секретариате ЦК. В защиту неприкасаемого капитана, Героя Социалистического Труда, выступили члены политбюро Подгорный и Шелест, министр рыбной промышленности Ишков, первый секретарь Одесского обкома партии Синица. Однако с ними были несогласны Шелепин и некоторые другие кремлевцы. Секретариат освободил Соляника от должности. После чего Брежнев принял его у себя в кабинете. Поблагодарил за работу. Но что поделаешь, сетовал он, чепе получило нежелательный резонанс.

А сейчас попробуйте вспомнить какой-нибудь другой подобный пример «действенности» прессы – в России, или Советском Союзе, или в нынешней святой Руси: чтобы хозяин тайги-империи беспомощно разводил руками.

«Комсомольской правде» запретили дать сообщение о том, что Соляник снят с поста.

А вскоре убрали и главного редактора «Комсомолки». Назначили ответственным секретарем «Правды». Но когда страсти улеглись, Воронова вообще услали в ГДР, где и продержали четырнадцать лет. За эти годы его, прекрасного редактора, талантливого поэта Союз писателей не раз хотел сделать, например, редактором «Литературной России» или зам. редактора «толстого» журнала, но каждый раз этому препятствовал Подгорный. Когда того не стало, эту роль взял на себя Суслов. И только после того, как не стало и Сулова, Воронова избрали одним из секретарей Союза писателей СССР.

И тут самое место обнародовать то, что Сахнин сказал мне в 1967 году: Соляник лично доставлял кремлевским бонзам снадобье, стимулировавшее мужскую сексуальную энергию. Его из океанического сырья вырабатывали чудо-химики с «Советской Украины».

Как деликатно сказано в Википедии, «публикация затронула интересы некоторых людей, входивших в правящую элиту».

Конечно, об этой истории вспоминает и Капитолина Кожевникова. А я думаю все о том же: «Комсомолка» на протяжении десятилетий притягивала, как магнитом, сердца юных газетчиков. Она же, хотела того или нет, была, как сказали бы тогда, «маяком» для местных молодежных изданий. Каким же благом для страны, для провинции, для мыслящей ее части было существование этой газеты. Нам с Галиной повезло, что мы оказались в «молодежном» секторе журналистики. Попади в «большую», до мозга костей пронизанную большевистским духом прессу – и могли навсегда заскорюзнуть в убеждении: святой ее долг – в услужении власти. «Журналисты – подручные партии». Таким предназначением, по понятиям режима, должны были быть горды мастеровые нашего цеха. Неисчислимое количество народу на наших глазах провалилось в эту гибельную – для журналиста – нравственную яму. Дурно пахнущую. И мы могли бы...

Брал меня в редакцию Юрий Петрович Воронов, а работал я при Борисе Дмитриевиче Панкине. Однако «Комсомолка» еще старалась вести свою прежнюю линию раскрепощения, по возможности, человека и его духа. Именно в ней, «последней из могикан» среди газет, хранивших остаточную энергию оттепели, и могла произойти история, о которой я тоже хочу упомянуть. Речь о статье, наверняка запомнившейся интеллигентам-шестидесятникам. Ольга Кучкина, известная писательница и драматург, а в то время – одна из первых красавиц не только «Шестого этажа», а, пожалуй, всей журналистской Москвы, написала в «Комсомольской правде» в 2009 году, в год 80-летия со дня рождения известного публициста Лена Карпинского:

«Он появился вместе с соавтором Федором Бурлацким, принеся статью «На пути к премьере». Оба работали в «Правде», «Правда» с публикацией тянула, хитрила. «Комсомолка» опубликовала сразу. Шел 1967-й год, время «оттепели».

Статья прогремела. И переломила карьеру и судьбу красавца и умницы.

...Статья внятно настаивала на отмене чиновной цензуры в театре. Читай, партийной цензуры. Это было неслыханно. За неимением иной, самой главной общественной трибуной оставался театр Эфроса, Ефремова, Любимова. Наравне с журналом «Новый мир» Твардовского. Отпустить их на волю? Всё отлично читалось между строк.

Скандал разразился в день выхода статьи. Обоих «инсургентов» попросили вон из «Правды».

«Лену Карпинскому пришлось трудно, – вспоминал Борис Яковлев, в свое время бравший меня на работу и в ростовский «Комсомолец», и в столичный «Журналист». – Его потом исключали из партии, давали работу самого низкопробного свойства. ...Лишь в послеавгустовские девяностые годы он стал главным редактором газеты «Московские новости», и газета эта заткнула за пояс многие мелкотравчатые, но прежде ведущие издания, в том числе «Правду».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.